



*Описанные в книге люди, баночно-мозговые сущности, события и обстоятельства — вымышлены. Всякое сходство с экстралингвистической действительностью случайно. Любая попытка обнаружить в книге какие-то намеки и параллели является рептильной проекцией антинародного ума и подсознательным вредительством (статья 83.34 уголовного уложения Доброго Государства).*



Said the straight man  
To the late man:  
«Where have you been?»  
I've been here and I've been there,  
And I've been in between.

*King Crimson*



## THE STRAIGHT MAN. ДОМ БАХИИ

В наш грозный двадцатый век с его верой в могущество разума и «коллективное творчество масс» (певцы прогресса отчего-то не узнают в нем отката к пирамидам), солдатом быть почетно, а служителем культа стыдно. Достоинства и недостатки моего происхождения, таким образом, уравновешивали друг друга.

Не буду называть своего прежнего имени. Оно теперь не играет роли (в конце рассказа причина станет ясна). Я отпрыск самурайского рода, отличившегося в войнах, давшего стране много воинов и — нелепое, но обычное соседство — буддийских бонз. По семейной традиции я должен был стать священником, а со временем — настоятелем небольшого храма недалеко от Токио.

С раннего детства я мечтал о творчестве. Увы, я был начисто лишен талантов. Кое-чего достиг только в каллиграфии и, как ни странно, кукольном искусстве.

Недалеко от моего дома жил старый мастер, делавший кукол *хина* и *муса* для ежегодного

го кукольного фестиваля. Он трудился целый год и продавал весь запас за несколько первых дней марта. Работал он не спеша.

Я приходил к нему и подолгу смотрел на его труд, подавая материалы — ткани, набитые соломой мешочки, кусочки дерева (они были окрашены в белый цвет ракушечным пигментом), крохотные прически, сделанные из черного шелка или женских волос. Император, императрица, придворные...

Особенно мне нравились куклы воинов. Я помогал мастеру, когда он делал фигурки Тоетоми Хидэеси и его генералов. Меня волновал блеск лака на шлемах и доспехах. Оружие из тонких металлических пластинок было по-настоящему острым — один раз я здорово порезал палец крохотным мечом.

Я знал, что эти куклы живы — хоть, может быть, и не так, как я. Практически без помощи старика я сделал из отходов его производства пару самураев, сидящих на походных стульях. Старик одобрил мою работу, сказав, что у меня есть призвание к этому искусству.

Сам же я был куклой не вполне для Японии обычной. Воспитывали меня в вольнолюбивом светском духе — и образование мое было весьма глубоким, с европейским уклоном. Я несколько лет посещал Токийский императорский университет.

Выучив английский (и немного немецкий), я прочел в оригинале уйму великих книг, обучавших жителей Европы убивать своих королей и жечь города. В китайской древности жечь предпочитали именно смутные книги — и с превосходным для общественной нравственности результатом. Но времена изменились.

Латинские буквы всегда напоминали мне крохотные сосуды — бутылочки, чашки, изогнутые мензурки и витые пробирки. Содержащийся в них яд сомнения и свободы отравил мой доверчивый юный мозг, и я стал воспринимать духовную традицию, которой призван был служить, с известной долей скепсиса.

Выйдя из университета, я провел несколько лет в монастырях, где постигал учение Будды — вернее, его недостоверное, но прекрасное эхо, распространившееся в Китае и стране Ямато. Вместе с другими монахами я стучался в двери минувшего, решая учебные загадки-коаны и предаваясь созерцанию.

До сих пор помню узор на досках пола, куда я смотрел из-под опущенных век, держа в уме *му-коан* — такой же неизбежный в Дзен, как прыщи в юности.

*Мастера Джошу спросили, обладает ли собака природой Будды. Он сказал «му», то есть «нет». В чем смысл такого ответа?*



Как решал этот парадокс двадцатый век?

На самом деле мастер Джошу иногда говорил «да», иногда «нет». Природу Будды имеет все живое; обладать природой Будды нельзя, ибо кто есть обладатель, и так далее — эти инстинктивные движения ума ведут к ошибке. Ум при решении коана должен молчать. Отвечать нужно точно так же, как Джошу: звуком «му», не вкладывая в него ни «да», ни «нет». «Му» — это просто «му».

В школе Риндзай это знает любой служака. Учитель проверяет, насколько яростно и непобедимо мычит ученик, до какой степени он растворяется в своем мычании; звук «му» должен исходить из низа живота и обладать несокрушимой силой...

Вдумавшись в происходящее, уже тогда можно было понять, что Империю готовят к страшной бойне. Но задним умом сильны мы все.

Мое «му» никогда не было особенно сильным. Ум не желал умолкнуть — и видел в практике коанов удобный бюрократический протокол, за которым целые поколения настоятелей и бонз могли без труда спрятать свою тупость.

Секта Дзен, отрицая ритуалы, сводит к ритуалу вообще все; но ритуал этот засекречен и ученики гадают о том, как бы им не сесть в лужу. А старшие монахи и мастера, знающие

секретный протокол, тем временем выпивают, спят и изображают мудрость. Когда понимаешь это, становится смешно.

Сводить коаны к ритуалу, конечно, неверно — в них был когда-то смысл, и глубокий. Но за века их лезвие затупилось. Где сегодня взять монаха, подходившего к Джошу со своей заботой о природе Будды? Фальшь здесь в том, что тебя заставляют отвечать на вопрос, который перед тобой не стоит, и просветление от такого метода будет в худшем случае декоративным, а в самом лучшем — еле слышным эхом чужих озарений.

«Не опираться на слова и писания...»

Эх-эх, шептала европейская часть моего ума, вот насмешили. Ведь и коан про «му» — это из области слов и писаний. Откуда же еще? Секта Дзен не опирается на слова Будды, это факт — но очень ценит черные сопли собственных бонз, размазанные по бумаге.

Слова и писания занимают в секте Дзен такое же место, как половые сношения в викторианской Англии: все тщательно делают вид, что подобного не существует, но хорошо знают, вокруг чего вертится на самом деле жизнь.

Мой вольнолюбивый скепсис, однако, проявлялся не в том, что я подвергал сомнению постулаты Учения, а в том, что я презирал условности, которые следовало — хотя бы внешне —

соблюдать монаху и священнику. Лицемерие казалось мне отвратительным.

Я не делал особых усилий, чтобы скрывать обычные для молодого человека наклонности и импульсы, и в результате одной некрасивой, но не слишком серьезной истории, получившей огласку, распрощался и с монашеской робой, и с семейной привилегией.

В семье мне этого не простили. Оправдываться я не стал.

Сейчас это кажется странным, но я почти не ощутил горя от разрыва с близкими. Да что там, я почти не заметил случившегося. В то время воздух был пропитан электричеством; мир стоял на пороге величайших перемен, и страна Ямато готовилась сказать человечеству свое грозное непререкаемое «му».

Монастырская жизнь, что бы про нее ни говорили, закалила меня. Я привык вставать в предутренней темноте, мыться ледяной водой и довольствоваться простой и грубой пищей. Эти навыки вряд ли пригодились бы мне, стань я действительно настоятелем храма — но в армии они кстати.

По случаю своего вступления в ряды императорской армии я написал стихотворение, подводящее итог моим душевным метаниям:

Пистолет  
системы «Намбу».  
В обойме восемь «му».

Так я оказался младшим офицером в Бирме.

Сразу получить чин помогло знание английского и немецкого. Меня планировали использовать для допросов пленных англичан и коммуникаций с германским союзником. Поэтому на передовую я не попал.

\*

Я уже говорил, что считал себя европейцем в душе — но мысль о надвигающейся битве с англичанами, владыками морей и хозяевами мира, наполняла меня одновременно восторгом и страхом.

Европейской стороной своего ума я понимал эту раздвоенность вполне: *эдипусу-комплексу*, или, говоря проще, мазакон. Аффект, связанный с фигурами отца и матери.

Как учит пророк психоанализа Фрейд, человек испытывает к отцу противоречивые чувства, смесь почтения с подсознательным желанием убить старика и занять его место (я сам не читал Фрейда, но часто наталкивался на пересказ этих идей в популярных журналах).

Я вспомнил об этом, когда впервые увидел в бирманских джунглях мертвого англичанина.

Меня поразили цвет его кожи — темный, почти коричневый. Он был еще молод, но лицо его выглядело морщинистым и старым, как бы задубевшим под ветром и солнцем. Он похо-

дил на мумию, колдовством поднятую из праха и отправленную воевать.

Его форма была выцветшей и старой, а голове покрывала белая тряпка, которую я сперва принял за марлевую повязку. Но это оказался тюрбан — он, видимо, хотел защитить себя от солнца. На его рукаве была странная нашивка со злобно выгнувшей спину черной кошкой.

Все в его облике выдавало такую обездоленность и нищету, такое личное ничтожество, что меня передернуло от отвращения и сострадания.

И эти люди владеют миром? Если так, пришло время бросить им вызов... Впервые в жизни я ощутил себя частью восходящей нации, вышедшей биться за великое будущее. Самое главное, я почувствовал наше право на такое будущее. Что бы ни шептала моя европейская часть, теперь она будет знать свое место.

Через несколько минут мне объяснили, что передо мной всего лишь мертвый индус из семнадцатой дивизии — англичане, как обычно, сумели заставить одних азиатов убивать других.

Ощущение морального превосходства над культурой белого человека, испытанное из-за глупой ошибки, было, конечно, сладким, но недолгим; это была галлюцинация голодного матроса, увидевшего на горизонте соткавшуюся из тумана землю и решившего, что на нее можно поставить ногу.

Наивно полагать, что военная пропаганда не действует на мозги. К счастью, я понял это сам.

Случай этот заставил меня задуматься и о другом.

Эти люди — индусы, чьи неубранные трупы лежали в джунглях — когда-то подарили миру учение Будды. А потом вернулись к провинциальному водевилю индуизма с его карнавальными мифами и зооморфными богами, поступив с дарованной им истиной примерно как иудеи с приходившим к ним Христом. Я в некотором смысле был духовным наследником древних индусов, жильцом пещер, покинутых ими еще в Средние века.

Это было поразительно.

Впрочем, так же обстояло и с христианством в Европе. Современный европеец не видит ничего странного в том, чтобы поедать отвергнутое евреями тело их пророка. Пути культуры и духа неисповедимы. Но все-таки, все-таки... Неужели прекрасный бронзовый будда из Камакуры родом из нишей тьмы?

Вся Бирма полна изваяний Будды — сидящих, стоящих, лежащих в паринирване: их здесь больше, чем статуй Ленина и Сталина в большевистской России. Но раньше я не задумывался над тем, что учение Будды сохранилось в этих джунглях почти в том самом виде, в каком существовало при его жизни.

Это был буддизм Малой Колесницы, которую Большая Колесница презирала.

Редкий мастер Дзен не уделит нескольких ядовитых слов «последователям сутр», и отношение, конечно, передается ученикам. Сарказм этот даже не направлен на адептов Малой Колесницы: поговорив со здешними монахами, немного знавшими английский, я понял, что «сутрами» мы называем совершенно разные вещи.

Никто здесь слыхом не слыхивал про Сутру Сердца, заучиваемую в нашей секте наизусть. Я прочитал одному монаху мантру оттуда – самую распространенную в дальневосточной Махаяне. Ее они точно должны были знать:

Gyate Gyate Naragyate Harasogyate Wojisowoka...

Но оказалось, что у них в ходу другая главная мантра, почти повторяющая этот ритмический рисунок:

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa...

Мантра из Сутры Сердца, если попытаться перевести ее (что сложно сделать точно), означает следующее: «уходящее, уходящее, далеко уходящее, дальше далекого уходящее, просветление, славься». Бирманцы же говорят нечто вроде: «поклон ему, благословленному, совершенному, самопробужденному».

Как будто кто-то подменил старинное за-  
 клинание другой последовательностью слов,  
 близкой по длине и звучанию.

Высокая поэзия – и ритуальная формула,  
 возвеличивающая Будду. И в том и в другом  
 была красота, но такая разная.

В мантре из Сутры Сердца билось сердце  
 возвышенной эпохи Нара, там были треск  
 сверчков, рябь ветра на воде, отразившаяся  
 в пруду луна – вся поэзия страны Ямато.

Бирманская формула как бы впитала в себя  
 пыль веков, она завораживала своей древно-  
 стью – была, кажется, старше Римской Импе-  
 рии и даже походов Александра Македонского.

Я мало знал про учение Малой Колесницы.  
 Слышал только, что оно опирается на сутры  
 Палийского канона и содержит строгие пра-  
 вила, регламентирующие каждый монашеский  
 чих. Мне казалось, это просто набор архаич-  
 ных форм, пустая шелуха зерна, из которого  
 выросло великое дерево Махаяны. Все, что  
 было в этом зерне живого, давно уже приняло  
 другие формы... Так меня учили.

\*

Пока я разглядывал статуи Будды, беседовал  
 с монахами и размышлял о высоком, война  
 разгоралась – но я оставался в тылу.

До меня доходили смутные слухи о звер-  
 ствах, совершаемых нашими солдатами на мате-



риковом Китае. Я не знал, правда это или военная пропаганда врага. Но, если честно, кого из солдат, пригнанных на убой, заботят такие вещи? Мир слишком жесток к ним, чтобы они заботились о других. Лучшие из военных думают о судьбах Империи, худшие — о своей шкуре...

Я был, пожалуй, из худших, хотя шкурой своей полагал скорее совесть, чем тело. Я не мог остановить маховик смерти, но решил в душе, что умру по своей воле, если меня заставят убивать мирных людей. К счастью, благодаря хорошей карме я был избавлен от соучастия в жестокостях. Из-за статуса переводчика мне не нужно было обагрять руки кровью.

Англичане отступали по всему фронту. Наши лихо обошли Рангун — но после этого германского по своей стремительности маневра зачем-то сняли блок-посты на ведущем из города шоссе, позволив врагу уйти. Произошло это, как часто бывает, из-за слишком буквального следования приказу. Но Рангун в любом случае достался нам, английский радар в нем больше не работал, и наши летчики смогли наконец взяться за работу.

Вроде бы кампания развивалась по плану, но в середине апреля произошло событие, в котором можно было увидеть тревожное предвестие будущего. Американцы в первый раз бомбили Японию с воздуха — им удалось под-

нять с авианосцев дюжину средних бомбардировщиков, ушедших потом в Китай и Россию. И хоть ущерб был невелик, это казалось дурным знаком.

Но у нас в Бирме все было в порядке — пока что. Мы побеждали. Враг уходил в Индию. Мы гнали бы его и дальше, но поступил приказ остановить наступление.

Начался муссон.

\*

С мая по сентябрь в Бирме идет дождь. С неба льет вода, и сильный ветер заносит ее во все щели. Все гниет; жить становится настолько противно, что война как-то сама затихает — ведь главная ее цель в том, чтобы причинять людям муку, а какой в боевых действиях смысл, когда всем плохо и так?

Мои функции штабного переводчика сводились к переводу вражеских радиogramм. Перехватывали их редко, пленных не было, немецкие подводные лодки не делали в наши джунгли дружеских визитов (хотя в дни сильных ливней мне казалось, что могли бы вполне), и я бездельничал даже не днями, а целыми неделями.

Официально мы боролись не то с партизанами, не то с китайскими диверсантами. Наше подразделение оставалось на месте почти полгода, и за это время я завязал несколько пре-

красных, но не слишком приличествующих солдату знакомств.

Я говорю не про местных женщин, чьи неискренние стоны так уютно сливаются по вечерам с шумом дождя и ликующим блеяньем жаб. Менять продукты питания на любовь — это для солдата обычное дело, но сам я подобных связей избегал.

Рядом с деревней, где разместился наш штаб, был монастырь со странным названием «Дом Бахии». Мне сказали, что в нем живет ученый монах из Рангуна. Говорили, прежде он служил профессором философии в местном университете.

Монах свободно изъяснялся по-английски, и мы могли общаться без труда. Он был образованным человеком, но я называю его «ученым» не в мирском, а в монастырском смысле. Он помнил палийские сутры, комментарии к ним и вообще весь древний канон. Еще он многое знал о западной философии.

Я провел много вечеров в беседах с ним. Мы говорили об Учении — одновременно общем и разном для нас. Я узнал уйму интересного и нового.

После смерти Будды его слова долго передавали устно и записали только через пятьсот лет — примерно тогда, когда Клеопатра травила себя змеями, а римляне убивали Цезаря.

Поэтому в палийских текстах много мнемонических блоков – повторяющихся однообразных периодов, которые легче было запомнить декламаторам времен Александра и Дария, учившим сутры наизусть.

Разница между соседними абзацами часто заключена в одном-двух словах, и для неподготовленного человека смысл учения легко может затеряться между этими словесными жерновами.

По этой причине в текстах Малой Колесницы почти нет высокой и волнующей красоты Праджняпарамиты. Палийский канон – своего рода словесная руина, древняя и величественная; подлинная речь Будды была, скорей всего, иной, и сутры в лучшем случае передают общий ее смысл. Они похожи на громоздкие телеги с каменными колесами, доставившие из прошлого несколько драгоценных обломков истины...

Услышав от меня такое сравнение, монах оскорбился и выразил сомнение в подлинности сутр Большой Колесницы, в том числе Сутры Сердца.

– Ваша бодхисатва Каннон, – сказал он, – несомненно, постигает пустоту всех феноменов, иное было бы удивительно. Вот только приведенная в Сутре Сердца беседа с учеником Будды Шарипутрой нигде больше не задо-

кументирована. А сама Сутра Сердца, скорей всего, написана уже в нашу эру в Китае и задним числом переведена на санскрит.

С точки зрения монаха это был ядовитейший сарказм, от которого мне следовало позеленеть и скончаться на месте. Думаю, говоря это, он готовился встать к стенке под японские пули.

Я собирался ответить, что дело не в прозрении пустоты феноменов, а в бесконечном милосердии Каннон ко всему живому – но вовремя сообразил, что в устах офицера оккупационной армии это прозвучит неуместно. Поэтому я рассмеялся, налил себе местного самогона и сказал:

– Моя секта не привязана к словам и писаниям.

Этих слов хватило.

Японские бонзы вели подобные споры много сотен лет и в совершенстве научились в них побеждать. От этого умения зависели благосклонность правителей и еда.

Я попробовал расспросить монаха, в чем заключается реальная практика их секты, отличная от чтения сутр – но внятного ответа не получил. Тогда я предложил собственный: они заняты соблюдением кодекса монашеских правил. Их в Малой Колеснице так много, и они так строги, что на другое времени не остается.

Обменявшись этими любезностями, мы разошлись.

Потом мы встретились опять, и диспуты между нами продолжились. Я повторял, что Большая Колесница неизмеримо превосходит Малую, а все палийские сутры можно без всякого ущерба заменить одной-единственной «Сутрой Сердца» — неважно, где, когда и кем она написана. Ветхим палийским прописям далеко до высокой и тонкой мудрости Махаяны...

— Не будем спорить о подлинности ваших писаний, — сказал монах примирительно. — В конце концов, все существующее подлинно уже потому, что существует. Поговорим о другом. Как вы понимаете «Сутру Сердца»? Что это значит — все формы, все восприятия, переживания и мысли пусты?

Я ответил ударом ладони в пол.

— Вы убили муху? — спросил монах.

Я почти разозлился. Как он говорит с японским захватчиком... Впрочем, это было забавной реакцией на дзенское клише.

— Таков принятый в нашей секте ответ, — сказал я. — Вернее, один из возможных ответов. Путаться в болтовне считается у нас недопустимым.

— Почему?

— Мы теряем путь. Кажется, что смысл уловлен в словах, но это просто облепившая ум паутина.

– Может быть, вы все же снизойдете к моей неотесанности? Попробуйте ответить иначе.

– Му, – сказал я.

Монах засмеялся.

– Слышал, слышал и такое... Это высокая мудрость вашей секты. Я догадываюсь, на что указывают подобные парадоксы. Но не могли бы вы сделать исключение для деревенского дурня и объяснить в простых словах – как же вы все-таки понимаете свою главную сутру?

– Хорошо, – сказал я. – Я попробую. Суть Сутры Сердца выражена в самой первой ее строчке. Бодхисатва Каннон постигает пустоту всех вещей и спасается от страданий и несчастий... Мудрому достаточно одной этой строки, все остальное – комментарий.

– А что это значит – пустота всех вещей?

– Говорить об этом сложно.

– А вы попробуйте. Лучше всего на каком-нибудь примере из личного опыта.

Я задумался.

– Ну хорошо, вот недавний случай. Кто-то из моих солдат повесил тряпку сушиться на дерево. Утром я вышел из дома и мне показалось, что это огромная птица, готовая на меня кинуться. Никакой птицы там не было, только тряпка. Но пару мгновений я был уверен, что меня вот-вот клюнет огромный ястреб.

– Очень хорошо, – кивнул монах, – продолжайте...

— Мы, люди, проводим жизнь среди подобных птиц, созданных нашим собственным умом. С рождения до смерти человек занимается тем, что разводит у себя в голове воображаемых ястребов, размышляя, какой клюнет больше и как ему среди них жить. Мало того, сам человек есть такая же точно птица. Эти фантомы просто мерещатся сознанию — и ответить на вопрос, из чего они сделаны, нельзя, потому что их нет нигде, кроме воображения. Они сделаны из познавательного усилия нашего ума, из переживаний и концепций. Это и называется пустотой.

— Да, но из чего сделаны сами переживания?

— Вглядываясь в них, — сказал я, подумав, — мы не видим никакого материала, никакой реальной основы, никакой сохраняющейся сути. Переживания сделаны из чистого восприятия, и таким переживанием является весь мир. Можно было бы сказать, что переживания сделаны сами из себя, но никакого «себя» в них нет. Это и означает пустоту всего сущего. Наши жизни призрачны и мимолетны, как сон.

— Такова мудрость Праджняпарамиты?

— Это мое несовершенное понимание, — ответил я, — кое-как облаченное в слова по вашей просьбе.

— Замечательно, — сказал монах, — замечательно. Не так уж и глупо. Тряпичных птиц не существует, согласен. Но все равно они пугают



нас каждый день, и многие гибнут от страха. Стрдание с философской точки зрения тоже пусто. Но от этого оно не перестает быть страданием. А Будда учил одному — прекращению страданий. Каков практический способ его прекращения, следующий из вашего понимания вещей?

— Я уже говорил, — ответил я. — Бодхисатва Каннон постигает пустоту всех переживаний и через это спасена от боли... Если вы прозреваете нереальность феноменов сознания, они не способны более вас терзать.

— А сами вы уже спаслись от страдания подобным образом?

— Не полностью, — сказал я. — Но путь Махаяны таков.

— Я пытаюсь понять, что это значит на практике, — сказал монах. — Когда вы испытываете печаль или утрату, вы должны напомнить себе о нереальности этих чувств? И они перестанут вас мучить?

Я засмеялся.

Вот поэтому лучше ограничиваться ответом вроде «му» или удара ладонью в пол. Откроешь рот, скажешь что-нибудь о смысле Учения — будешь потом объясняться всю жизнь. Учителя Дзен не хотели осложнять себе жизнь и правильно делали.

— Нет, — ответил я, — спасение происходит не так. Вы развиваете общее видение пустоты,

оно становится непосредственным, постоянным и безусильным, и любая душевная боль теряет жало. Вы сразу видите ее как пустую и нереальную...

— Высокий идеал, — сказал монах.

Кажется, в его тоне была издевка. И издевался он уже не над нашей сектой, а надо мною лично. Я почувствовал себя глупо. Конечно, я был очень далек от нарисованного моими словами образа.

— Страдание, — сказал монах, — возникает непосредственно и внезапно. Оно никогда не является нашим выбором. Только когда страдание уже присутствует, вы способны напомнить себе, что оно пусто. Разве не так?

— Ну в общем да, — ответил я. — Наверное.

— Значит, вы не спасаетесь от страдания. Вы вешаете на него другой ярлык. Если бы у вас во дворе жила бешеная собака, стали бы вы защищаться от ее укусов, давая ей другое имя или вспоминая ее происхождение от волка?

— А как спасаются от укусов в вашей обители? — спросил я.

— Приходите завтра, — сказал монах. — Я дам вам ответ.

\*

Прийти на следующий день я не смог.

В нашем подразделении застрелились два молодых солдата. Они ушли глубоко в джун-